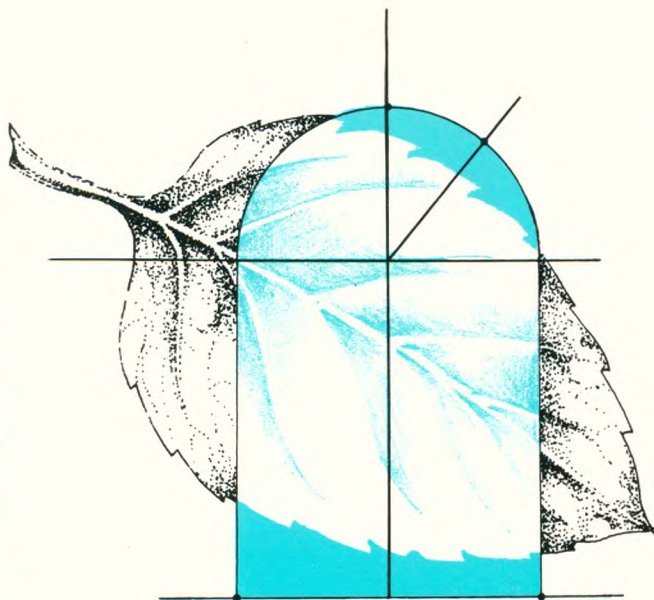


ОЛЪГА СЕДАКОВА



ВРАТА  
ОКНА  
АРКИ

ВРАТА  
ОКНА  
АРКИ



ОЛЬГА СЕДАКОВА

ВРАТА, ОКНА, АРКИ

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris

1986

**Обложка работы Д. Некрасов-Геллер**

**© 1986 Ymca-Press  
ISBN 2-85065-080-3**





**I**





## КОДА

Поэт есть тот, кто хочет то, что все  
хотят хотеть. Как белка в колесе,  
он крутит свой вообразимый рок.  
Но слог его, высокий, как порог,  
выводит с освещенного крыльца  
в каком-то заполярье без конца,  
где все стрекочет с острия копья  
кузнечиком в траве небытия.

И если мы туда скосим глаза —  
то самый звук случаен, как слеза.

## ГОРНАЯ ОДА

### 1.

Где высота сама себя играет  
на маленьком органе деревенском  
и на глазах лазурь изображает,  
но голосом не взрослым и не женским —  
а где-нибудь в долине удивленной  
водой, перебегающей повсюду,  
Моравии, Баварии зеленой  
перемывая чистую посуду,  
там в каменный кувшин с колоколами  
упрятано готическое пламя.

### 2.

Пусть готика, как это ей природно,  
направит кверху вектор вертикали,  
чтоб там она закончилась свободно,  
как некогда преданье о Граале,  
и копыеносцы и каменотесы  
на острие иголки безвоздушной  
вдруг задохнулись от надежды тесной  
и не коснулись чаши невозможной —  
а небо только падает глубоко,  
как тот, кто спит на берегу потока.

### 3.

Он спит и управляет сновиденьем,  
как плоскодонной лодкой на порогах,  
и звук, приподнимаясь над селеньем,  
кончается в таких же одиноких,  
и все они — его земля родная,  
и выбрать невозможно, и не нужно,  
переправляя их и пропадая  
в существовании, в воде воздушной,  
где, говорят, мы жили, как другие,  
как снег в горах, как реки в летаргии.

### 4.

Скажи, скажи на языке Кирилла  
или на том, какого не бывало,  
как снисхожденье с нами говорило  
и небо прятало, как покрывало.  
Есть имена, похожие на чины.  
Они живут, как колокол в ущелье,  
как непонятной верности причины  
и как игра, не знающая цели,  
когда она летит одушевленно  
на свет сторожевого легиона.

### 5.

Не родственный ни близости, ни дали,  
их колокол, раскачиваясь в нише,  
есть миг, когда они существовали, —  
и в этот миг они спускались ниже.

То Руфью отзываясь, то Рахилью,  
глядела жизнь, как рядом пировали,  
не зная, для чего ее растили  
и где конец ее чужой печали.  
Другим хотелось много, ей — едва ли:  
лечь и лежать, и чтоб ее назвали.

6.

Лежать, чтобы ее покоил голос,  
который наклоняет котловины  
и выдувает полости, и полость  
в вино преображает сердцевины.  
Чтобы одно звучание носило,  
как крепкое крыло возникновенья,  
над пропастью без имени и силы,  
но страшного, живого тяготенья,  
и время шло, и время было слово,  
не называя ничего другого.

7.

Чтоб горы — драгоценная равнина,  
увиденная оком недреманным  
взволнованных озер, стоящих выну\*  
над тем многоочитым океаном, —  
глядели, как она была любима  
и как она спускалась по ступеням,

---

\* выну — всегда (церк.)

по каменным порогам, по долинам  
с тысячекратно узанным терпеньем.  
И, наблюдая, как она терялась,  
сама земля без меры повторялась.

8.

И снился ей какой-то сон случайный,  
почти печальный сон исчезновенья,  
неведомо печальный. Но печали  
он сразу же задумал удвоенье:  
как будто дети, умершие рано,  
как над ручьем, играющим в апреле,  
стояли над своей могилой странной —  
и ни жалеть, ни плакать не умели.  
И отраженных обликов мученье  
им было неизвестно, как ученье.

9.

И так они стояли и молчали.  
И только брали из случайной смерти  
все то, что им напрасно обещали,  
чего никто не пробовал на свете —  
но каждый ждал. И вынынчил, как чадо,  
и, плача, передал его загробью:  
— Я только тень, но большего не надо.  
Подобие, влюбленное в подобье.  
И эту тень, как чашку с белым светом,  
возьми себе и позабудь об этом.

10.

Не на такой ли круглой вертикали  
Мне дар передавали безвозмездный,  
и золотом, как взглядом, отыскиали  
и разрешили от надежды тесной?  
Не тайны и не силы и не бездну,  
мне показали дерево простое —  
и странно было знать, что я исчезну,  
когда листва заговорит с листвою,  
и буду спать в корнях его глубоких,  
как спят деревья при живых потоках.

11.

Все, что исчезнет, — будет как дорога.  
И лежа мы уходим в путь невольный,  
где круглая, как яблоко, тревога  
катается в котомке колокольной:  
скажи, скажи, на языке награды,  
на языке, спускавшемся в загробье:  
есть дудка, открывающая клады, —  
звучащее подобие пощады —  
и клад, и смысл, и образец подобья.

## ДАВИД ПОЕТ САУЛУ

— Да, мой господин, и душа для души —  
не врач и не умная стража.

(Ты слышишь, как струны мои хороши?)  
Не мать, не сестра, а селенье в глуши  
и долгая зимняя пряжа.

Холодное время, не видно огней,  
темно и утешиться нечем.

Душа твоя плачет о множестве дней,  
о тайне своей и о шуме морей.

Есть многие лучше, но пусть за моей  
она проведет этот вечер.

И что человек, что его берегут? —  
гнездо разоренья и стога.

Зачем его птицы небесные вьют?

Я видел, как прут заплетается в прут.

И знаешь ли, царь, не лекарство, а труд —  
душа для души, и протянется тут,  
как мужи воюют, как жены прядут  
руно из времен Гедеона.

Какая печаль, о, какая печаль,  
какое обилье печали.

Ты видишь мою безответную даль,  
где я, как убитый, лежу, и едва ль



кто знает меня и кому-нибудь жаль,  
что я променяю себя на печаль,  
что я умираю вначале.

И как я люблю эту гибель мою,  
болезнь моего песнопенья!  
Как пленник, захваченный в быстром бою,  
считает в ему неизвестном краю  
знакомые звезды — так я узнаю  
картину созвездия, гибель мою,  
чье имя — как благословенье.

Ты знаешь, мы смерти хотим, господин,  
мы все. И верней, чем другие,  
я слышу: невидим и непобедим  
сей внутренний ветер. Мы все отдадим  
за эту равнину, куда ни один  
еще не дошел — и, дожив до седин,  
мы просим о ней, как грудные.

Ты видел, как это бывает, когда  
ребенок, еще бессловесный,  
поднимется ночью — и смотрит туда,  
куда не глядят, не уйдя без следа,  
шатаясь и плача. — Какая звезда  
его вызывает? Какая дуда  
каких заклинателей? —

Вечное да  
такого пространства, что, царь мой, тогда  
уже ничего — ни стыда, ни суда,  
ни милости даже: оттуда сюда  
мы вынесли все, и вошли. И вода  
несет, и внушает, и знает, куда. —  
Ни тайны, ни птицы небесной.

## СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

### 1.

Печаль таинственна и сила глубока.  
Семь тысяч лет в какой-нибудь долине  
она лежала, и когтями ледника  
ее меняли и ценили.

А то поднимется, как полный водоем, —  
и листьям хочется сознанья,  
и хочется глядеть в неосвященный дом,  
где спит, как ливень, мирозданье.

## 2.

Ни морем, ни дровом, ни крепкой звездой,  
ни ночью глубокой, ни днем превеликим —  
ничем не утешится разум земной,  
но только любовью отца и владыки.

Ты, слово мое, как сады в глубине,  
ты, слава моя, как сады и ограды, —  
как может больной поклониться земле —  
тому, чего нет, чего больше не надо.

### 3.

Блудный сын возвратится, Иосиф придет в Ханаан  
молодым, как всегда, и прекрасным сновидцем.  
И вода глубины, и огонь перевернутых стран  
снова будущим будут и в будущем будут двоиться.

— Поднимись, блудный сын, ты забыл, как живут  
на земле.  
Погляди, как малейшее мир победит и пребудет.  
И вода есть зола неизвестных огней, и в золе  
держит наш господин наше счастье и мертвого  
будит.

4.

Я не могу подумать о тебе,  
чтобы меня не поразило горе,  
и странно это — почему?

Есть, говорят, сверхтяжелые звезды.  
Кажется мне, что любовь тяжела,  
как будто падает.  
Она всегда  
как будто падает —

и не как лист на воду  
и не как камень с высоты —  
нет, как разумнейшее существо,  
лицом, ладонями, локтями  
сползая по какой-то кладке...

## 5.

Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.  
Да не сдадимся низким целям.  
Так реки, падая, твердят ущельям:  
всегда есть шаг,  
всегда есть ход,  
всегда есть путь.

Как труп, лежу я где-нибудь —  
или в начале наважденья?  
Но кто попробует? Кто вытерпит виденье,  
глядящее в пустую грудь?  
Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.

## 6.

Когда настанет час,  
и молот взмахнутый сойдется с наковальной,  
и позовут людей от родины печальной,  
какого от какой, какого от кого,  
от сна, от палача, от сердца своего,  
от всей немилости.

И мученики встанут  
и скажут: — Не зачисли им за грех.  
Мы точно знаем, что они не знают,  
что делают.

Кто это знает?

Кто знает то, что больше всех?  
Как молнии мгновенные деревья  
и разветвленные, как дуб,  
зло падает, уничтожая ум.

Кто, кто поможет им не жечь, не мучить,  
не убивать?

7.

Я так люблю  
эти дома, принадлежащие молитве,  
эти огни, принадлежащие любви,  
и в долгом плаванье Часов или вечерни  
голос, как голубь с известием земли:

— Ну поднимись, несчастное создание,  
и поделись со мной, чем Бог тебе подаст:  
мы вместе так и так,  
и на руках страданья,  
как дитя простое, укачают нас.





## II

### ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

*Это не то чтобы поэма, а ряд импровизаций вокруг сюжета, который (в обработке Бедье) я люблю с детства. До сюжета здесь дело почти не доходит, но он и так всем известен. Связь главок свободна, наподобие сюиты. Можно прибавить, можно убавить. Средневековье здесь, конечно, не историческое, сказочное или такое, какими все старые времена представляются в детстве. Поэтому я не прошу прощения за анахронизмы. Конечно, автор не имеет себя в виду ни под Изольдой, ни Тристаном, карликом, отшельником — если только всеми сразу и, так сказать, вдалеке себя.*

*"Мой друг", к которому обращается повествователь, — это мой друг Владимир Иванович Хвостин. Он не все части успел услышать. Его светлой памяти я все это и посвящаю и надеюсь посвятить что-нибудь получше.*



## Вступление первое

Послушайте, добрые люди,  
повесть о смерти и любви.  
Послушайте, кто хочет,  
ведь это у всех в крови.  
Ведь сердце, как хлеба, ищет  
и так благодарит,  
когда кто-то убит  
и кто-то забыт  
и кто-то один, как мы.

Монашеское платье  
сошьем себе из тьмы,  
холодной воды попросим  
и северной зимы:  
она прекрасна, как топаз,  
но с трещиной внутри.  
Как белый топаз у самых глаз,  
когда сидят, облокотясь,  
и глядят на фонари.

Судьба похожа на судьбу  
и больше ни на что:  
ни на глядящую к нам даль,  
ни на щит, ни на рог, ни на Грааль,  
ни на то, что у ворот.

И кто это знает, тому не жаль,  
что свет, как снег, пройдет.

О будь кем хочешь, душа моя,  
но милосердна будь:  
мы здесь с котомкой бытия  
у выхода медлим — и вижу я,  
что всем ужасен путь.

Тебе понравятся они  
и весь рассказ о них.  
Быть может, нас и нет давно,  
но, как вода вымывает дно,  
так мы, говоря, говорим одно:  
послушайте живых!

Когда я начинаю речь,  
мне кажется, я ловлю  
одежды уходящей край  
и кажется, я говорю: Прощай,  
не узнавай меня, но знай,  
что я, как все, люблю.

И если это только тлен,  
и если это в аду —  
я на коленях у колен  
стою и глаз не сведу.  
И если дальше говорить,  
глаза закрыть и слова забыть  
и руки разжать в уме —  
одежда будет говорить,  
как кровь моя, во мне.

Я буду лгать, но не обрывай:  
я ведь знаю, что со мной,  
я знаю, что руки мои в крови  
и сердце под землей.

Но свет, который мне светом был  
и третий свет надо мной носил  
в стране небытия --  
был жизнью моей, и правдой был,  
и больше мной, чем я.

## Вступление второе

Где кто-то идет — там кто-то глядит  
и думает о нем.

И этот взгляд, как дупло, открыт,  
и в том дупле свеча горит  
и стоит подводный дом.

А кто решил, что он один,  
тот не знает ничего.  
Он сам себе не господин —  
и довольно про него.

Но странно, что поступок  
уходит в глубину  
и там живет, как Ланцелот,  
и видит, как время над ним ведет  
невысокую волну.

Не знаю, кто меня смущал  
и чья во мне вина —  
но жизнь коротка, но жизнь, мой друг, —  
стеклянный подарок, упавший из рук.  
А смерть длинна, как всё вокруг,  
а смерть длинна, длинна.

Одна вода у нее впереди,  
и тысячу раз мне жаль,  
что она должна и должна идти,  
как будто сама — не даль.  
И радость ей по пояс,  
по щиколотку печаль.

Когда я засыпаю,  
свой голос слышу я:  
— Одна свеча в твоей руке,  
любимая моя! —

Одна свеча в ее руке,  
повернутая вниз:  
как будто подняли глаза  
и молча разошлись.



### Вступление третье

Я северную арфу  
последний раз возьму  
и музыку слепую,  
прощаясь, обниму:  
я так любила этот лад,  
этот свет, влюбленный в тьму.

Ничто не кончится собой —  
как говорила ты —  
ни злом, ни ядом, ни клеветой,  
ни раной, к сердцу привитой,  
ни даже смертью молодой,  
перекрестившей над собой  
цветущие кусты.

Темны твои рассказы,  
но вспыхивают вдруг,  
как тысяча цветных камней  
на тысяче гибких рук, —  
и видишь: никого вокруг,  
и только свет вокруг.

Попросим же, чтобы и нам  
стоять, как свет кругом.  
И будем строить дом из слез  
о том, что сделать нам пришлось  
и вспоминать потом.

А ты иди, Господь с тобой,  
ты ешь свой хлеб, свой путь земной —  
неизвестно куда, но прочь.  
И луг тяжелый и цветной  
за тобой задвигает ночь.

И если нас судьба вручит  
несчастнейшей звезде —  
дух веет, где захочет.  
А мы живем везде.

## 1. Рыцари едут на турнир

И что ж, бывают времена,  
бывает время таким,  
что слышно, как бьется сердце земли  
и вьется тонкий дым.  
Сердцебиенье лесной земли  
и славы тонкий дым.  
И остальные скроются  
по зарослям лесным.

Вот всадники как солнце,  
их кони — из темноты,  
из детской обиды копыта и копыя,  
из тайны их щиты.  
К Пятидесятнице святой  
они спешат на праздник свой —  
там гибель розой молодой  
на грудь упадет с высоты.

Ты помнишь эту розу,  
глядящую на нас?  
Мы прячем от нее глаза,  
она не сводит глаз.

А тот, кто умер молодым,  
и сам любил, и был любим,  
он шел — и все, что перед ним  
прикосновением одним  
он сделал золотом живым  
счастливей, чем Мидас.

И он теперь повсюду,  
и он — тот самый сон,  
который видят холм и склон  
небес сияющих, как он,  
прославленных, как он.

Но жизнь заросла, и лес заглох,  
и трудно речь вести.  
И трудно мне рукой своей  
теней, и духов, и зверей  
завесу развести.

Кто в черном, кто в лиловом,  
кто в алом и небесном,  
они идут — и, как тогда,  
сквозь прорези глядят туда,  
где роза плещет, как вода  
в ковше преданья тесном.

## 2. Нищие идут по дорогам

Хочу я Господа любить,  
как нищие Его.  
Хочу по городам ходить  
и Божьим именем просить,  
и все узнать, и все забыть,  
и как немой заговорить  
о красоте Его.

Ты думаешь, стоит свеча,  
и пост — как тихий сад?  
Но если сад — то в сад войдут  
и веры, может, не найдут,  
и свечи счастья не спрядут  
и жалобно висят.

И потому ты дверь закрой  
и ясный ум в земле зарой —  
он прорастет, когда живой, —  
а сам лежи и жди.

И кто зовет — с любим иди,  
любого в дом к себе введи,  
не разбирай и не гляди —  
они ужасны все,  
как червь на колесе.

А вдруг убьют? — пускай убьют:  
тогда лекарство подадут  
в растворе голубом.  
А дом сожгут? — пускай сожгут.  
Не твой же это дом.

### 3. Пастух играет

В геральдическом саду  
зацветает виноград.  
Из окна кричат: — Иду! —  
и четырнадцать козлят  
прыгают через дуду.

Прыгают через дуду,  
или скачут чрез свирель,  
но пленительней зверей  
никогда никто не видел.  
Остальных Господь обидел.  
А у этих шерстка злая —  
словно бездна молодая  
смотрит, дышит, шевелит.  
Тоже сердце веселит.

У живого человека  
сердце бедное темно.  
Он внутри — всегда калека:  
будь что будет — все равно.

Он не сядет с нами рядом,  
обзаведясь таким нарядом,  
чтобы цветущим виноградом  
угощать своих козлят —  
как всегда ему велят.

#### 4. Сын муз

И странные картины  
в закрытые двери войдут,  
найдут себе названье  
и дело мне найдут  
и будут разум мой простой  
пересыпать, как песок морской,  
то раскачают, как люльку,  
то, как корзину, сплетут.  
И спросят: что ты видишь?  
И я скажу: я вижу,  
как волны в берег бьют.

Как волны бьют, им нет конца,  
высокая волна —  
ларец для лучшего кольца  
и погреб для вина.  
Пускай свои виденья глотает глубина,  
пускай себе гудит, как печь,  
а вынесет она —

куда? Куда глаза глядят,  
куда велят, мой дух, куда?  
Откуда я знаю, куда.  
Ведь бездна лучше, чем пастух,  
пасет свои стада.



Невидимые никому  
они взбегают по холму  
играя, как звезда.  
Их частый звон, их млечный путь,  
он разбегается, как ртуть,  
и он бежит сюда —

затем что беден наш народ  
и скуден наш рассказ,  
затем что всё сюда идет  
и мир забросил нас.  
Как бросил перстень Поликрат  
тому, что суждено.  
Кто беден был, а кто богат,  
кто войны вел, кто пас телят —  
но драгоценнее стократ  
одно летящее *назад*  
мельчайшее зерно.

Возьми свой перстень, Поликрат,  
не для того ты жил.  
Кто больше всего забросил,  
тот больше людям мил.  
И в язвах черных, и в грехах  
он — в закопченных очагах  
все тот же жар и тот же блеск,  
родных небес веселый треск:

там волны бьют, им нет конца,  
высокая волна —  
ларец для лучшего кольца  
и погреб для вина.

Когда свои виденья глотает глубина,  
мы скажем: нечего терять —  
и подтвердит она.

И мертвых не смущает  
случайный, бедный пыл —  
они ему внушают  
все то, что он забыл.  
Простившись с мукою своей,  
они толпятся у дверей

с рассказами, с какими  
обходят в Рождество —  
про золото и жемчуг,  
про свет из ничего.

## 5. Смелый рыбак. Крестьянская песня

Слышишь, мама, какая-то птица поет,  
будто бьет она в клетку, не ест и не пьет.

Мне говорил один рыбак,  
когда я шла домой:  
— Возьми себе цепь двойную,  
возьми себе перстень мой,  
ведь ночь коротка и весна коротка  
и многие лодки уносит река.

И, низко поклонившись,  
сказала я ему:  
— Возьму я цепь, мой господин,  
а перстень не возьму:  
ведь ночь коротка и весна коротка  
и многие лодки уносит река.

Ах, мама, все мне снится сон —  
какой-то снег и дым,  
и плачет грешная душа  
пред ангелом святым —  
ведь ночь коротка и весна коротка  
и многие лодки уносит река.

## 6. Раненый Тристан плывет в лодке

Великолепие горит  
жемчужиною растворенной  
в бутылки темной, засмоленной.  
Но в глубине земных обид  
оно как вал заговорит,  
как древний понт непокоренный.

Ты хочешь, смертная тоска,  
вставать, как молы из тумана,  
чтобы себя издалека  
обнять руками океана —  
серебряною веткой Брана  
и вещим криком тростника  
смущая слух, века, века  
ты изучаешь невозбранно:  
как сладко ноющая рана,  
жизнь на прощанье широка.

Мне нравится Тристан, когда  
он прыгает из башни в море,  
поступок этот — как звезда:  
мы только так избегнем горя,  
отвагой чище, чем вода.  
Мне нравится глубоких ран

кровь, украшающая ласку, —  
что делать? я люблю развязку,  
в которой слышен океан,  
люблю ее любую маску.

Пльви, как раненый Тристан,  
перебирая струны ожидания,  
играя небесам, где бродит ураган,  
игру свободного страдания.

И малая тоска героя  
в тоске великой океана —  
как деревушка под горою,  
как дом, где спать ложатся рано,  
а за окном гудит метель,  
метель глядит, как бледный зверь  
в тысячеокие ресницы,  
как люди спят, а мастерицы  
прядут всеобщую кудель.  
И про колхидское руно  
жужжит судьбы веретено.  
Его не будет. Все равно.

## 7. Утешная собачка

Прими, мой друг, устроенную чудно  
собачку милую, вещицу красоты.  
Она из ничего. Ее черты  
суть радуги, надежные мосты  
над речкой музыки нетрудной —  
ее легко заучишь ты,  
по ней плывет веночек твой новый, непробудный:  
бутоны свечек, факелов цветы.

Она похожа на гаданье,  
когда стучат по головне:  
оттуда искры вылетают,  
их сосчитают —  
но уже во сне,  
когда они свободно расправляют  
свои раскрашенные паруса,  
и их не ветры подгоняют —  
неведомые голоса.

То судна древние, гребные.  
Их океаны винно-золотые  
несут, на утешенье нам,  
вдоль островов высоких и веселых,  
для лучшей жизни припасенных,  
по острым, ласковым волнам.

О чем шумит волна морская,  
что nereида говорит?  
Как будто, рук не выпуская,  
нас кто-нибудь благодарит:

— Ну дальше, бедные скитальцы!  
У жизни есть простое дно,  
и это чистое, на пальцы  
натянутое полотно.  
Не зря мы ходим, как по дому,  
по ненасытной глубине,  
где шьет задумчивость по золотому,  
а незабвенность пишет на волне  
свои картины и названья:

вот мячик детства, вот свиданье,  
а это просто зимний день,  
вот музыка, оправленная сканью  
ночных кустов и деревень.  
Заветный труд. Да ну его...  
И дальше, липа. Это липа  
у входа в город. Рождество.

А вот — не видно ничего.  
Но это лучшее, что видно.

Когда, как это ни обидно,  
и нас не будет — очевидно,  
мы будем около него...

Прими, мой друг, моей печали дар,  
ведь красота сильнее, чем сердце наше —  
она гадательная чаша,  
невероятного прозрачайший футляр.

## 8. Король на охоте

Куда ты, конь, несешь меня?  
Неси, куда угодно:  
душа надежна, как броня,  
а жизнь везде свободна

сама собой повелевать  
и злыми псами затравлять,

восточным снадобьем целить  
или недугом наделить,

медвежьим, лисьим молоком  
себя выкармливать тайком

и меж любовниками лечь  
как безупречный меч.

И что же — странная мечта! --  
передо мной она чиста?  
Не потому, что мне верна,  
а потому, что глубина  
неистоцима; высота  
недостижима; за врата  
айдовы войдя, назад  
никто не выйдет, говорят.



О, воля женская груба,  
в ней страха нет: она раба  
упорная... Мой друг  
олень, беги, когда судьба  
тебе уйти. Она груба  
и знает все и вдруг.

А слабость — дело наших рук.

## 9. Карлик гадает по звездам. Заодно о проказе

Проказа, целый ужас древний  
вмещается в нее одну.  
Само бессмертье, кажется, ко дну  
идет, когда ее увидит:  
неужто небо *т а к* обидит,  
что человека человек  
как смерть свою возненавидит?

Но, и невидимое глазу,  
зло безобразней, чем проказа.

Ведь лучший человек несчастных посещает,  
руками нежными их язвы очищает  
и служит им, как золоту скупец:  
они нажива для святых сердец.  
Он их позор в себя вмещает,  
как океан — пустой челнок,  
качает и перемещает  
и делает что просит Бог. —

Но злomu, злomu кто поможет,  
когда он жизнь чужую гложет,  
как пес — украденную кость?

Зачем он звезды понимает?  
Они на части разбирают.  
Другим отраднa эта гроздь,  
а он в себя забит, как гвоздь.  
Кто такие гвозди вынимает?

Кто принесет ему лекарство  
и у постели посидит?  
Кто зависти или коварства  
врач небрезгливый? Разве стыд.  
И карлик это понимает.

Он оттолкнул свои созвездья,  
он требует себе возмездья:  
(содеянное нами зло  
с таким же тайным наслаждением,  
с каким когда-то проросло,  
питается самосожженьем) :

— Я есть, но пусть я буду создан  
как то, чего на свете нет, —  
и ты мученья чистый свет  
прочтешь по мне, как я по звездам! —

И вырывался он из мрака  
к другим и новым небесам  
из тьмы, рычащей, как собака,  
и эта тьма была — он сам.

## 10. Ночь. Тристан и Изольда встречают отшельника

Любовь, охотница сердец,  
натягивает лук.  
Как часто мне казалось,  
что мир — короткий звук,  
похожий на мешок худой,  
набитый огненной крупой,  
и на прицельный круг...

Сквозь изгородь из роз просовывая руку,  
прекраснейший рассказ воспитывает муку,

которой слаще нет: огромный алмаз  
по листьям катится, один и не один.

Что более всего наш разум восхищает? —  
Что обещает то, что разум запрещает:

душа себя бежит, она нашла пример  
в тебе, из веси в весь бегущий Агасфер...

Скрываясь от своей единственной отрады,  
от крови на шипах таинственной ограды,

не власти я хочу: мой ум ее бежит,  
другого требуя, как этот Вечный Жид...

Но есть у нас рассказ, где мука роковая  
шумит-волнуется, как липа вековая:

смерть — госпожу свою ветвями осень,  
их ночь глубокая из сердцевины дня

растет и говорит, что жизни не хватает,  
что жизни мало жить — она себя хватает

над самой пропастью — но, разлетясь в куски,  
срастется наконец под действием тоски.

Итак, они в лесу друг друга обнимают.  
Пес охраняет их, а голод подгоняет

к концу. И в том лесу, где гнал их страх  
ревнивый,  
отшельник обитал, как жавронок над нивой.

Он их кореньями и медом угостил  
и с подаянием чудесным отпустил —

как погорельцев двух, сбравших на пожар.  
И занялся собой. Имел он странный дар:

ему являлся вдруг в сердечной высоте  
Владыка Радости, висящий на Кресте.

## 11. Мельница шумит

О счастье, ты простая,  
простая колыбель.  
Ты лыковая люлька,  
раскачанная ель.  
И если мы погибнем,  
ты будешь наша цель.  
Как каждому в мире, мне светит досель  
под дверью закрытой горящая щель.

О, жизнь ничего не значит.  
О, разум, как сердце, болит.  
Вдали ребенок плачет  
и мельница шумит.  
То слуха власяница  
и тонкий хлебный прах.  
Зерно кричит, как птица,  
в тяжелых жерновах.  
И голос один, одинокий, простой,  
беседует с Веспером, первой звездой:

— О Господи мой Боже,  
прости меня, прости.  
И если можно, сердце  
на волю отпусти —

забытым и никчемным,  
ненужным никому,  
по лестницам огромным  
спускаться в широкую тьму  
и бросить жизнь, как шар золотой,  
невидимый уму.  
Где можно исчезнуть, где светит досель  
под дверь закрытой горящая щель.

Скажи, моя отрада,  
зачем на свете жить?  
Услышать плач ребенка  
и звездам послужить.  
И звезды смотрят из своих  
пещер или пучин:  
должно быть, это царский сын,  
он тоже ждет, и он один,  
он, как они, один.

И некая странная сила,  
как подо льдом вода,  
глядела сквозь светила,  
глядящие сюда.

И облик ее, одинокий, пустой,  
окажется первой и лучшей звездой.

## 12. Отшельник говорит. Заключение

Да сохранит тебя Господь,  
Который всех хранит.  
В простой и грубой жизни,  
как в поле, клад зарыт.  
И дерево над кладом  
о счастье говорит.

И летающие птицы —  
глубокого неба поклон —  
умеют наполнить глазницы  
чудесным молоком:  
о, можно не думать ни о ком  
и не забыть ни о ком.

Я выбираю образ,  
похожий на меня,  
на скрип ночного леса,  
на шум ненастного дня,  
на путь, где кто-нибудь идет  
и видит, как перед ним плывет  
нечаянный и шаткий плот  
последнего огня.

Да сохранит тебя Господь,  
читающий сердца,  
в унынье, в безобразье



и в пропасти конца,  
в недостижимом стекле  
закрытого ларца.

Где, как ребенок, плачет  
простое бытие —  
да сохранит тебя Господь  
как золото Свое!

### **III**



## МАЛЕНЬКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В. И. ХВОСТИНУ

Бесконечное скажут поэты.  
Живописец напишет конец.  
Но о том, что не то и не это,  
из-за двери тяжелого света  
наблюдают больной и певец.

И конечно, он легкого легче.  
И конечно, он тоже болит —  
нашей жизни и правды орешник:  
düftig, düftig... du Nächste... du Licht...

Будто вдруг непомерные двери  
растворяя у всех на глазах —  
и навстречу, как розы в партере, —  
*время*, время в бессмертных слезах.

## ПОСЛЕДНИЙ ЧИТАТЕЛЬ

*Саше*

... И в эту погоду, когда, как вино,  
мы рады тому, что ни слуху, ни глазу  
нельзя погрузиться в одну глубину,  
коснуться ее — и опомниться сразу

(и что этот образ? Не явь и не сон,  
не заблевание и не исцеленье,  
а с криком летящая над колесом  
мгновенная ласточка одушевления) —

тогда он и скажет себе: — Чудеса!  
Не я ли раздвинул тяжелые вещи,  
чтоб это дышало и было как сад,  
как надпись из листьев на смысле и речи,

и было псалтырью, толкующей мне  
о том, что никто, как она, не свободен, —  
словами, которых не ищут в уме,  
делами, которых нигде не находят.

Но Господи, где же надежда Твоя?  
Ты видишь — я вижу одними глазами.  
И ветер вернется на круги своя.  
Я знаю, я чудом задуман, и я,  
как чудо, уже не вернусь с чудесами. —

Он встанет, и сядет, и встанет опять,  
и в темные окна глядит, холодея.  
А сад будет литься, скрипеть, лепетать  
и жить как одно приключенье Психеи.



Каждый образ хорош. Только слон поправляет  
ограды...  
Это тяжесть земная, вздыхая, уходит из сада...

Как мне хочется быть драгоценным и тихим  
созданием,  
чтоб его захватили, простясь со своим  
мирозданием!

Каждый образ хорош, каждый облик похож  
на ресницы,  
увлажненные сном. Каждый знает,  
кому поклониться...

И не все ли равно — рассыпаться, как облако  
пыли,  
или резать слонов и следить, чтоб они говорили.



## НОЧНОЕ ШИТЬЕ

*Тяге*

Уж звездное небо уносит на запад  
и Кассиопеи бледнеет орлица —  
вот-вот пропадет. Но как вышивки раппорт,  
желает опять и опять повториться.  
Ну что же, душа? Что ты, спишь, как сурок?  
Пора исполнять вдохновенья урок.

Бери свои иглы, бери свои рядна,  
натягивай страсти на старые кросна —  
гляди, как летает челнок Ариадны  
в твоём лабиринте пред чудищем грозным.  
Нам нужен, ты знаешь, рушник или холст —  
скрипучий, прекрасный, сверкающий мост.

О, что бы там ни было, что ни случится,  
я звездного неба люблю колесницы,  
возниц и драконов, везущих по спице  
все волосы света и ока зеницы,  
блистание нитки, летящей в иглу,  
и посвист мышинный в запечном углу.

Как древний герой, выполняя задание,  
из сада мы вынесем яблоки ночи  
и вышьем, и выткем свое мирозданье —  
чулан, лабиринт, мышеловку, короче —  
и страшный, и душный его коридор,  
колодезь, ведущий в сокровища гор.

Так что же я сделаю с перстью земною,  
пока еще лучшее солнце не выйдет?  
Мы выткем то небо, что ходит за мною,  
откуда нас души любимые видят —  
и сердце мое, как печные огни,  
своей кочергой разгребают они.

## КУЗНЕЧИК И СВЕРЧОК

*The poetry of Earth is never dead.*

John Keats

Поэзия земли не умирает.  
И здесь, на Севере, когда повалит снег,  
кузнечик замолчит. А вьюга заиграет  
и забренчит сверчок, ослепший человек.  
Но ум его проворен, как рапира.  
Всегда настроена его сухая лира,  
натянут важный волосок.  
Среди невидимого пира —  
он тоже гость, он Демодок.  
И словно целый луг забрался на шесток.

Поэзия земли не так богата:  
ребенок малый да старик худой,  
кузнечик и сверчок откуда-то куда-то  
бредут по лестнице одной —  
и путь огромен, как заплата  
на всей прорехе слуховой.  
Гремя сердечками пустыми,  
там ножницами завитыми  
все щелкают над гривами златыми  
коней нездешних, молодых —  
и в пустоту стучат сравненья их.

Но хватит и того, кто в трубах завывает,  
кто бледные глаза из вьюги поднимает,  
кто луг обходит на заре  
и серебро свое теряет —  
и всё находит в их последнем серебре.

Поэзия земли не умирает,  
но если знает, что умрет —  
челнок надежный выбирает,  
бросает весла и плывет —  
и что бы дальше ни случилось,  
надежда рухнула вполне  
и потому не разучилась  
летать по слуховой волне.  
Скажи мне, что под небесами  
любезнее любимым небесам,  
чем плыть с открытыми глазами  
на дне, как раненый Тристан?...

Поэзия земли — отважнейшая скука.  
На наковаленках таинственного звука  
кузнечик и сверчок сковали океан.

## ОСЕНЬ, ОГОНЬ И ПУТНИК

В стеклянной хранилке, потом в румяной туче  
полупрозрачного плода  
мгла осени, как зернышко, лежит.  
Внутри нее огонь бежит  
из ниоткуда в никуда.  
Ведь Осень-Гестия очаг оберегает.  
Там, в глубине его, поет  
все то, что дождь беспамятный смывает,  
что снег ближайший заметет,  
что в сердце тяжком обрывает  
озябший путник у ворот. —  
И вот его к огню сажают,  
и ветер внутренний цевницу достает:

— Я вижу копи золотые  
или ночные города:  
померкшие пережитые  
и будущие, как слюда.  
Но более всего люблю я просто пламя.  
Оно ныряет вензелями  
в ту глубину, которую вокруг  
никто за правду не считает,  
откуда к нам кометы долетают,  
где *все бывает*, милый друг, —  
а пламя дальше выплывает.

Как золотой тритон, припаянный к трубе.  
Он говорит: *я знаю о тебе,*  
*но ничему не доверяю.* —

И это правда.  
Бедный узник  
невидимых полупрозрачных век,  
на что, на что походит человек,  
а уж на жизнь свою больную  
он не походит никогда;  
ни в раннем детстве, ни тогда,  
когда в лицо он старость видит  
и ей неслышно говорит:

— Рисуи на мне начальные черты  
твоих имен: таких как Твердь, Руда,  
Мирская Мгла, Вечернее Прощенье.  
Пиши на мне болезненное имя.

Я и в слезах его пойму  
и передам, пересыпаясь,  
как неприметное селенье,  
как горсть огней —  
из темноты во тьму.

## ВЬЮГА

*В. Лапину*

За Крестопоклонной, как дело пойдет  
к тому, чтобы все повернуло обратно,  
и желчь, начиная казаться как мед,  
кончает. И горше стократно.

И пятна

темнеют у самых церковных ворот,  
и дальше, и дальше... Уходит народ  
от скорбной вечерни. Но так же невнятно  
вся ночь захолустья обратно бредет —  
волною морскою всю ночь напролет.

И это недаром: как в теплой золе,  
там, видно, тепло. Там от вьюги неровный  
желтеет последний огонь на земле.  
Там сторож сидит с побирушкой церковной —  
как в теплой золе, как в утробе укромной.  
А ветер, а ветки, а снег на стекле  
и сами как будто не дома во мгле  
и просят прохожих в тоске беспокровной  
идти и идти, как к звезде баснословной  
и словно к костру на холодной земле.

К полуночи сторож постель разберет,  
и нищенка ляжет. При свете нерезком  
появится что-то — и тут же пройдет.  
Как будто по городу, полному блеском,  
какая-то тень. Опечаленным треском  
откликнется печь. Но и это пройдет.

И это пройдет, и веками идет,  
и плачет, и плачет в отчаяньи детском,  
как будто на озере Геннисаретском —  
волною морскою\* всю ночь напролет.

---

\* Волною морскою скрывшего древле гонителя мучителя... — предпасхальное пение.



## ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ

### 1.

Тот, кто ехал так долго и так вдалеке,  
засыпая, и вновь просыпаясь, и снясь  
жизнью маленькой, тающей на языке  
и вникающей в нас, как последняя сласть,  
как открытая связь —  
от черты на руке  
до звезды в широчайшей небесной реке —

### 2.

тот и знает, как цель убывает в пути  
и растет накопленье бесценных примет,  
как по узкому ходу в часах темноты  
пробегают песком пересыпанный свет  
и видения тысячи лет  
из груди  
выбегают, как воздух, и ждут впереди:

### 3.

или некая книга во мраке цветном,  
и сама — темнота, но удобна для глаз,  
словно зренье, упавшее вместе с лучом,

наконец повзрослело, во тьме укрепясь,  
и светясь  
пробегают над древним письмом,  
как по праздничным сечкам на древе густом;

4.

или зимняя степь представлялась одной  
занавешенной спальней из темных зеркал,  
где стоит скарлатина над детской тоской,  
чтобы лампу на западе взгляд отыскал —  
как кристалл,  
преломленный в слезах и цветной.  
И у лампы сидят за работой ночной;

5.

или, словно лицо приподняв над листом,  
вещество открывало им весь произвол:  
ясно зрящие камни с бессмертным зрачком  
освещали подземного дерева ствол,  
чтобы каждый прочел  
о желанье своем.  
Но ни тайны, ни радости не было в нем.

6.

Было только молчанье и путь без конца.  
Минералов и звезд перерытый ларец  
им наскучил давно. Как лицо без лица,

их измучил в лицо им глядящий конец —  
словно в груди колец  
не нашарив кольца,  
они шли уже *прочь* в окруженье конца.

7.

— О как сердце скучает, какая беда!  
Ты, огонь положивший, как вещь меж вещей,  
для чего меня вызвал и смотришь сюда?  
Я не лучший из многого в бездне Твоей!  
Пожалей  
эту бедную жизнь, пожалей,  
что она не любила себя никогда,  
что звезда  
нас несет и несет, как вода! ...

8.

И они были там, где хотели всегда.

\* \* \*

Неужели, Мария,  
только рамы скрипят,  
только стекла болят и трепещут?  
Если это не сад —  
разреши мне назад,  
в тишину, где задуманы вещи.

Если это не сад, если рамы скрипят  
оттого, что темней не бывает,  
если это не тот заповеданный сад,  
где голодные дети у яблонь сидят  
и надкушенный плод забывают,

где не видно огней,  
но дыханье темней  
и надежней лекарство ночное...  
Я не знаю, Мария, болезни моей.  
Это сад мой стоит надо мною.

## НИ ТЕМНОЙ СТАРИНЫ ЗАВЕТНЫЕ СКАЗАНЬ:

*В. Аксющц*

Есть странная привязанность к земле,  
нелюбящей; быть может, обреченной.  
И ни родной язык, в его молочной мгле  
играющий купелью возмущенной,  
не столько дорог мне, ни ветхие черты  
давнопрошедшей нищеты,  
премудрости неразличенной.

И ни поля, где сеялась тоска  
и где шумит несжатым хлебом  
свои сказания бесчисленной песка  
вина перед землей и небом:

— О, не надейся, что тебя спасут:  
мы малодушны и убоги.  
Один святой полюбит Божий суд  
и хвалит казнь, к какой его везут,  
и ветер на пустой дороге.

## В ВИННОМ ОТДЕЛЕ

*В. Котову*

Отец, изъеденный похмельем,  
стучал стеклом и серебром.  
Другие пьяницы шумели  
и пахли мертвым табаком.  
Подвал напоминал ущелье,  
откуда небо кажется стеклом.

Ребенок в пурпурной каталке,  
в багряных язвах аллергии  
сидел, как чучело страданья,  
текущего через другие  
бессмысленные воды...

Предметы плавали, не достигая дна  
расплавленных и слабых глаз.  
А там, на дне, труба гудела  
и ветер выл. Он был  
Больной Король,  
хозяин зданья,  
где раз в тысячелетие и реже  
под музыки нездешнее бряцанье  
за святотатственным Копьем  
несут болезненную Чашу.  
Где плоть, как разум, изнывает.

— Зачем, зачем? — труба взывает  
из глаз его полужакрытых —  
зачем, доколе будет смерть лакать  
живую кровь? Зачем несправедливость  
мне сердце обвивает, как питон?  
Я не Геракл, я сам, как сон.  
И сам из-под пяты взываюсь,  
над язвами Земли Святой  
безумным терном обвиваюсь,

когда неслышными шагами  
под музыку, идущую кругами,  
за святотатственным Копьем  
несут болезненную Чашу —

и, погибая, сердце наше  
мы сами, словно оцет, пьем!

Зачем, зачем? — труба взывает —  
мне жизнь, как печень, разрывают?  
Доколе мне в скале гореть?  
Доколе будет смерть гудеть  
и с искрами свистеть, взлетая,  
земля от крови золотая?  
И все, что было, будет впредь...

## ЛИЦИНИЮ

*Л. Евдокимовой*

Помнишь, апрель наступал? А вот уж в его середине,  
как в морском путешествии — ветра свист и вещие  
рощи.

Но как мне хочется жить! Это просто нелепо,  
Лициний,  
будто пробку топить в океане гибели общей.

На корабле государства мы едем сдыхать от позора.  
Ибо кому же охота железо лизать на морозе?  
Ибо не небо — земля, ибо и завтра — не скоро,  
а сегодня шумит. А сегодня — как старец Тиресий.

Старый образ бабочки и свечи принесу я из трюма:  
нужно мне поглядеть сильной смерти крылья и  
корни.

Там и пойдет океан причитать, как слепец,  
сочиняющий думу,  
перед жадным народом, который его не накормит.

О океан-мотылек! Кто сложил, кто раскрыл твои  
крылья? Кто ложками линий  
вычерпал сердце мое так, что там ничего  
не осталось?

Вот как живет океан. Кто живет, Расскажи мне,  
Лициний,  
в золотой середине свечи, чтоб она и в конце  
улыбалась?



## НА СМЕРТЬ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ХВОСТИНА

Кончен труд, мой бедный, кончен труд  
счастья и надежды; безупречный  
труд любви. И что же, нас сотрут,  
как рисунок мелом? Дар сердечный,  
обаянье будущего, Млечный  
точный путь, которым нас ведут...  
Или не доводят? Друг мой *вечный*,  
или вечность — только тут?

Мужество есть лучшее, чем жизнь.  
Есть такое удивленье,  
для которого мы родились.  
Как в порыве первого движенья,  
он лежит — и переносит жизнь  
на руках благословенья.

Как ребенка на руках,  
вынесет через горящий прах  
исцеление и пенье,  
жизнь, укорененную в веках.  
Спит, как будто рад, что в этих снах —  
окончательное подтвержденье.

\* \* \*

В пустыне жизни... Что я говорю,  
в какой пустыне? В освещенном доме,  
где сходятся друзья и говорят  
о том, что следует сказать. Другое  
и так звучит, и так само себе,  
как дерево из-за стекла кивает.  
В саду у дружелюбных, благотворных,  
печальных роз: их легкая душа  
цветет в Элизии, а здесь не знает,  
как выглянуть из тесных лепестков,  
как показать цветенье без причины  
и музыку, разредившую звук,  
как рассказать о том, что будет дальше,  
что лучшее всего... В саду у роз,  
в гостях у всех — и все-таки в пустыне,  
в пустыне нашей жизни, в худобе  
ее несчастной, никому не видно, —  
Вы были больше, чем я расскажу.

Ни разум мой и ни глухой язык,  
я знаю, никогда не прикоснутся  
к тому, чего хотят. Не в этом дело.  
Мы все, мой друг, достойны сострадания  
хотя бы за попытку. Кто нас создал,  
тот скажет, почему мы таковы,  
и сделает, какими пожелает.

А если бы не так... Найти места  
неслышной музыки: ее созвездья, цепи,  
горящие переплетенья счастья,  
в которой *э т а* музыка сошлась,  
как в разрешенье — вся большая пьеса,  
доигранная. Долгая педаль.  
Глубокая, покойная рука  
лежала б сильно, впитывая все  
из клавишей... Да, это было б лучше,  
чем жестяные жалобы разлуки  
и совести больной... Я так боюсь.  
Но правда ведь, какая-то неправда  
в таких стенаньях? Следует конец  
нести на свет руками утешенья  
и, как в меха, в бесценное создание  
раскаянье закутать, чтоб оно  
не коченело — бедное, чужое...  
А шло себе и шло, как красота,  
мелодия из милости и силы.  
Вы видите, я повторяю Вас...

## ИЗ ДНЕВНИКА

\*

Тьма ощущения, сырая,  
благодарящая земля!  
Там раскрываются, как веки,  
грядущей жизни имена.  
И вещи у нее — припевы,  
и каждая — как пыльный путь.  
Сама себя не обещает  
и говорит, что я умру,  
но вдалеке ее играет  
фонарик мира наяву.

\*

Я же думала: быть может,  
как окно выходит в сад,  
мне навстречу выйдут, и вина предложат,  
и навеки пощадят.  
И я в твердом разуме стояла,  
наблюдая, как темно кругом,  
где судьба спокойно вырубала  
в грубом камне дорогом —  
и почти спокойно я глядела,  
как крошился гордый ум.  
А в уме звезда свистела —  
дальнего застолья шум.

## НА СМЕРТЬ ЛЕОНИДА ГУБАНОВА

*До свиданья, друг мой, до свиданья.*

С. Есенин

Или новость — смерть, и мы не скажем сами:  
все другое *больше* не с руки?  
Разве не конец, летящий с бубенцами,  
составляет звук строки?

Самый неразумный вслушивался в это —  
с колокольчиком вдали.  
Потому что, Леня, дар поэта  
так отраден для земли.

Кто среди сокровищ тяжких, страстных  
ларчик восхищенья выбрал наугад?  
Кто еще похвалит мир прекрасный,  
где нас топят, как котят?

Как эквилибрист-лунатик, засыпая,  
преступает через естество,  
знаешь, через что я преступаю?  
Чрез *ненужность ничего*.

До свиданья, Леня. Тройкой из ромansa  
пусть хоть целый мир летит в распыл,  
ничего не страшно. Нужно постараться.  
Быть не может, чтобы Бог забыл.

## ВСТРЕЧА

Дом в метели  
или огонь в степи  
или село на груди у косматой горы  
или хибара  
на краю океана,  
который вечно встает,  
как из-под ложечки,  
из места, где все безымянное ноет, —

вот где следует жить,  
вот где мы, наконец, оживем.  
Соберем нашу чашку, разбитую  
вдребезги с горя,  
и в вине ее все отразимся —  
все, как войдем:

с веселым и любопытным взглядом,  
со снегом, с огнем,  
с удовольствием видеть друг друга,  
с океаном в окне.

А хозяином будет Гиви,  
ведь добрей человека  
земля не видала.

## ВЕСНА

*И. Жданову*

Только я сказать хотела:  
— Приезжай, навести меня! —  
а зима кончается.

Иероглифами кустов и деревьев  
с нажимом и без нажима  
пишут и пишут.

Ах, по влажной бумаге  
невидимой кистью,  
по воздуху мягкому, рисовому  
писать одно удовольствие —  
руку не остановишь.

Воздушная книга, как Хлебников, пишет:  
какие-то корнесловия,  
колодцы происшествий,  
золотые мониста наставшего.  
Впрочем, приедешь, увидишь.

Из чулана зимы,  
из каморки ночи

солнце выходит —  
странно, как оно там умещалось?  
Делать нечего, вот теперь и греет.  
Нужно ему осветить  
что-нибудь важное,  
что-нибудь милое...  
Приезжай, не откладывай.

Сколько бы человеку  
не светили, не писали, не летели,  
сколько бы ручьи не рисовали  
горы и впадины  
нашей равнины,  
сколько бы птицы не говорили,  
как небо окружает землю  
тысячерукой лазурью,  
лазурью, нежной попрошайкой —  
а грустно думать, что никто не приедет.

Разве ты знаешь, когда будет поздно?  
Как снег сойдет, так и нас  
хватишься —  
а нигде не видно.



## ЗОЛОТАЯ ТРУБА

*ритм Заболоцкого*

Над просохшими крышами  
и среди луговой худобы  
в ожиданье неслышимой  
объявляющей счастье трубы

все колеблется, мается  
и готово на юг, на восток,  
очумев от невнятицы —  
то хлопок, то свисток, то щелчок.

Но уж — древняя ящерка  
с золотым светоглазом во лбу —  
выползает мать-мачеха,  
освещая судьбу:

погляди, поле глыбами, скрепами  
смотрит вверх, словно вниз  
и крестьянскими требами  
вдруг себя узнает. Объявись!

Объявись, ибо сладко, я думаю,  
разнестись, как сверкающий дым,  
за ослепшей Фортуною,  
за ее колесом золотым —

что ослепнет, то, друг мой, и светится,  
то и мчит, как ковчег  
над ковшами Медведицы —  
и скорей, чем поймет человек.

Там-то силой сверхопытной —  
соловей, филомела, судьба —  
вся из жизни растоптанной  
объявись, золотая труба!



# **IV**

## **СТАРЫЕ ПЕСНИ**



## ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

*Что белеется на горе зеленой?*

А. С. П.

### 1. Обида

Что же ты, злая обида?  
Я усну, а ты не засыпаешь,  
я проснусь — а ты давно проснулась  
и смотришь на меня, как гадалка.

Или скажешь, кто меня обидел?  
Нет таких, над всеми Бог единый.  
Кому нужно — дает Он волю,  
у кого не нужно — отбирает.

Или жизнь меня не полюбила?  
Ах, неправда, любит и жалеет,  
бережет в потаенном месте  
и достанет, только пожелает,  
поглядит, как никто не умеет...

Что же ты, злая обида,  
сидишь передо мной, как гадалка?

Или скажешь, что живу я плохо,  
обижаю больных и несчастных?...

## 2. Конь

Едет путник по темной дороге.  
Не торопится, едет и едет.

— Спрашивай, конь, меня что хочешь,  
все спроси — я все тебе отвечу:  
люди меня слушать не будут,  
Бог и без рассказов знает.

Странное, странное дело:  
почему огонь горит на свете,  
почему мы полночи боимся  
и бывает ли кто счастливым?

Я скажу, а ты не поверишь,  
как люблю я ночь и дорогу,  
как люблю я, что меня прогнали  
и что завтра опять прогонят.

Подойди, милосердное время!  
выпей моей юности похмелье,  
выгяни молодости жало  
из горячей недавней ранки —  
и я буду умней, чем другие. —

Конь не говорит, а отвечает.  
Тянется долгая дорога  
и никто не бывает счастливым,  
но несчастных тоже не много.

### 3. Судьба

Кто же знает, что ему судили?  
Кто и угадает — не заметит.

Может, и ты меня вспомнишь,  
когда я про тебя забуду, —

и тогда я войду неслышно,  
как к живым приходят неживые,  
и скажу, что я кое-что знаю,  
чего ты никогда не узнаешь,

и потом поцелую руку,  
как холопы господам целуют.



#### 4. Детство

Помню я раннее детство  
и сон в золотой постели.

Кажется или правда?  
Кто-то меня увидел,  
быстро вышел из сада  
и стоит, улыбаясь:

— Мир — говорит — пустыня.  
Сердце человека — камень.  
Любят люди чего не знают.

Ты не забудь меня, Ольга,  
а я никого не забуду.

## 5. Грех

Можно обмануть высокое небо —  
высокое небо всего не увидит.  
Можно обмануть глубокую землю —  
глубокая земля спит и не слышит.  
Ясновидцев, гадалелей и гадалок —  
а себя самого не обманешь.

Ох, не любят грешного человека  
зеркала и стекла и вода лесная:  
там чужая кровь то бежит, как ветер,  
то свернется, как змея больная:

— Завтра мы встанем пораньше  
и пойдем к знаменитой гадалке,  
дадим ей за работу денег,  
чтобы она сказала,  
что ничего не видит.

6.

Человек он злой и недобрый,  
скверный человек и несчастный,  
и кажется, мне его жалко,  
а сама я еще недобрее.

И когда мы с ним говорили,  
давно и не помню сколько,  
ночь была и дождь не кончался,  
будто бы что задумал,

будто кто-то спускался  
и шел в слезах и сам, как слезы:

не о себе, не о небе,  
не о лестнице длинной,  
не о том, что было,  
не о том, что будет, —

ничего не будет.  
Ничего не бывает.

## 7. Утешение

Не гадай о собственной смерти  
и не радуйся, что все пропало,  
не задумывай, как тебя оплачут,  
как замучит их поздняя жалость —

это все плохое утешенье,  
для земли обидная забава.

Лучше скажи и подумай:  
что белеет на горе зеленой?

На горе зеленой сады играют  
и до самой воды доходят,  
как ягнята с золотыми бубенцами —  
белые ягнята на горе зеленой.  
А смерть придет, никого не спросит.

## 8. Спор

Разве мало я живу на свете?  
Страшно и выговорить, сколько.  
А все себя сердце не любит,  
ходит, как пленник по темнице —  
а в окне чего только не видно!

Вот одна старуха говорила:  
— Хорошо, тепло в Божьем мире.  
Как горошины в гороховых лопатках,  
лежим мы в ладони Господней.  
И кого ты просишь — не вернется.  
И чего не задумай — не исполнишь.  
А порадуется этому сердце —  
будто птице в узорную клетку  
кинули сладкие зерна —  
тоже ведь подарок не напрасный! —

Я кивнула, а в уме сказала:  
— Помолчи ты, глупая старуха,  
все бывает, и больше бывает.

## 9. Просьба

Бедные, бедные люди!  
И не злы они, а торопливы:  
хлеб едят — и больше голодают,  
пьют — и от вина трезвеют.

Если бы меня спросили,  
я бы сказала: Боже,  
сделай меня чем-нибудь новым.  
Я люблю великое чудо  
и не люблю несчастья.

Сделай, как камень отграненный,  
и потеряй из перстня  
на песке пустыни.

Чтобы лежал он тихо  
не внутри, не снаружи,  
а повсюду, как тайна.

И никто бы его не видел,  
только свет внутри и свет снаружи.

А свет играет, как дети,  
малые дети и ручные звери.

## 10. Слово

И кто любит — того полюбят,  
кто служит — тому послужат,  
не теперь, так когда-нибудь после.

Но лучше тому, кто благодарен,  
кто пойдет, послужив, без Рахили,  
веселый по горам зеленым.

Ты же, слово, царская одежда,  
долгого, короткого терпенья платье,  
выше неба, веселее солнца.

Наши глаза не увидят  
цвета твоего родного,  
шума складок твоих широких  
не услышат уши человека,

только сердце само себе скажет:  
вы свободны, и будете свободны,  
и перед рабами не в ответе.

## ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

*Посвящается бабушке.*

### 1. Смелость и милость

Солнце светит на правых и неправых,  
и земля нигде себя не хуже:  
хочешь, иди на восток, на запад  
или куда тебе скажут,  
хочешь — дома оставайся.

Смелость правит кораблями  
на океане великом.  
Милость качает разум,  
как глубокую дряхлую люльку.

Кто знает смелость, знает и милость,  
потому что они — как сестры:  
смелость легче всего на свете,  
легче всех дел — милосердьё.



## 2. Походная песня

Во Францию два гренадера  
из русского плена брели.  
В пыли их походное платье  
и Франция тоже в пыли.  
Не правда ли, странное дело?  
Вдруг жизнь оседает, как прах,  
как снег на смоленских дорогах,  
как песок в аравийских степях,  
и видно далеко, далеко. И небо виднее всего.  
— Чего же Ты, Господи, хочешь,  
чего ждешь от раба Твоего?

Над всем, чего мы захотели,  
гуляет какая-то плеть.  
Глаза бы мои не глядели.  
Да велено, видно, глядеть —  
и ладно. Чего не бывает  
над смирной и грубой землей!  
В какой высоте не играет кометы огонь роковой.

Вставай же, товарищ убогий!  
Солдатам валяться не след.  
Мы выпьем за верность до гроба:  
за гробом неверности нет.

### 3. Неверная жена

— С того дня, как ты домой вернулся  
и на меня не смотришь,  
все во мне переменилось.  
Как та вон больная собака  
третий день лежит, издыхает,  
так и душа моя ноет.

Грешному весь мир — заступник,  
а невинному — только чудо.  
Пусть мне чудо и будет свидетель.

Покажи ему, Боже, правду,  
покажи мое оправданье! —

Тут собака, бедное созданье,  
быстро головой тряхнула,  
весело к ней побежала,  
ласково лизнула руку —  
и упала мертвая на землю.

Знает Бог о человеке  
чего человек не знает.

#### 4. Уверение

Хоть и все над тобой посмеются,  
и будешь ты лежать, как Лазарь,  
лежать и молчать перед небом —

и тогда ты Лазарем не будешь.

Ах, хорошо сравняться  
с черной землей садовой,  
и пестрой придорожной пылью,

с криком малого ребенка,  
которого в поле забыли... —

А другого у тебя не просят.

## 5. Колыбельная

На горе, в урочище еловом,  
на тонкой высокой макушке  
подвязана колыбелька.

Ветер ее качает.  
Вместе с колыбелькой — клетку,  
с клеткой — дуплистую елку.

В клетке разумная птица  
свистит и горит, как свечка.

— Спи — говорит — голубчик,  
кем захочешь, тем и проснешься:  
хочешь, бедным, хочешь, богатым,  
хочешь — морской волной,  
хочешь — ангелом Господним.

## 6. Возвращение

(Стих об Алексее)

Хорошо куда-нибудь вернуться:  
в город, где все по-другому;  
в сад, где иные деревья  
давно срубили, остальные  
скрипят, а раньше не скрипели;  
в дом, где по тебе горюют.

Вернуться и не назваться,  
так и молчать до смерти.

Пусть они себе гадают,  
расспрашивают приезжих,  
понимают — и не понимают.

А вещи кругом сияют,  
как далекие мелкие звезды.

## 7. Желание

Мало ли что мне казалось:

что если кого на свете хвалят,  
то меня должны хвалить стократно,  
а за что — пускай сами знают;

что нет такой злой минуты  
и такой забытой деревни  
и твари такой негодной,  
что над нею дух не заиграет,  
как чудесная дудка над кладом;

что нет среди смертей такой смерти,  
чтобы силы у нее достало  
против жизни моей терпеливой,  
как полынь и сорные травы —

мало ли что казалось  
и что покажется дальше.

## 8. Зеркало

Милый мой, сама не знаю:  
к чему такое бывает? —

Зеркальце вьется рядом,  
величиной с чечевицу  
или как зерно просяное.

А что в нем горит и мнится,  
смотрит, видится, сгорает —  
лучше совсем не видеть:

жизнь ведь — небольшая вещица,  
вся, бывает, соберется  
на мизинце, на конце ресницы —  
а смерть кругом нее, как море.

## 9. Видение

На тебя гляжу — и не тебя я вижу:  
старого отца в чужой одежде.  
Будто идти он не может,  
а его все гонят и гонят.

Господи, думаю, Боже,  
или умру я скоро? —  
Что это каждого жалко?

Зверей — за то, что они звери,  
и воду — за то, что льется,  
и злого — за его несчастье,  
и себя — за свое безумье.



## 10. Дом

Будем жить мы долго, так долго,  
как живут у воды деревья,  
как вода им корни умывает  
и земля с ними к небу выходит,  
Елизавета к Марии.

Будем жить мы долго, долго.  
Выстроим два высоких дома:  
тот из золота, этот из мрака,  
и оба шумят, как море.

Будут думать, что нас уже нет...  
Тут-то мы им и скажем:

По воде невидимой и быстрой  
уплывает сердце человека,  
там летает ветхое время,  
как голубь из Ноева века.

## 11. Сон

Снится блудному сыну,  
снится на смертном ложе,  
как он уезжает из дома.

На нем веселое платье,  
на руке — прадедовский перстень,  
лошадь ему брат выводит.

Хорошо бывает рано утром:  
за спиной гудят рожки и струны,  
впереди еще лучше играют.

А собаки, слуги и служанки  
у ворот собрались и смотрят,  
желают счастливой дороги.

## 12. Заключение

В каждой печальной вещи  
есть перстень или записка,  
как в условленных дуплах.

В каждом слове есть дорога,  
путь унылый и страстный.

А тот, кто сказал, что может, —  
слезы его не об этом  
и надежда у него другая.

Кто не знал ее — не узнает.  
Кто знает — снова удивится,  
снова в уме улыбнется  
и похвалит милосердного Бога.

## ОЛЬГА СЕДАКОВА: НОВЫЙ ПУТЬ.

### 1.

Стихи Ольги Седаковой до сих пор фактически не печатались. Их знают ее друзья и знакомые, их друзья и знакомые, друзья и знакомые этих друзей... Геометрическая прогрессия растет быстро, так что набирается немало. В близких мне кругах гуманитарной интеллигенции Ольга Седакова, сейчас, может быть, самый читаемый поэт. Но действие истинной поэзии не ограничивается кругом распространения. Она неминуемо определяет судьбы многих поколений читателей, и не только в своей стране. Стихи Седаковой относятся, мне кажется, именно к такой поэзии. Я вижу это как профессиональный исследователь стиха — по тем изменениям, которые претерпевает в них русское слово. И как читатель-современник — по тому, что происходит со мной, когда я их читаю.

### 2.

Мы отступали. К середине 70-х годов мы были полностью разбиты и в отчаянии бежали кто куда.

Кто в семью, кто в тюрьму, кто на Запад...

(В. Кривулин)

Наше поколение вышло в жизнь в уверенности, что знает свою цель. Предшественники искали ее в социальной области, теперь очевидно, было разумнее выбрать иное направление. Ранняя юность была наполнена космическими и физическими открытиями и новыми поэтами: Мандельштамом, Цветаевой, Блоком, Хлебниковым, ранними Ахматовой, Пастернаком, Заболоцким. Они воспринимались как современники. Неизвестные прежде стихи читались как только что написанные. Для входивших в жизнь в конце 60-х годов эта группа русских поэтов была, я думаю, примерно тем же, чем винкельмановские открытия были для штурмеров. Время питало новое поколение большой поэзией и большой наукой, казалось, готовя его к чему-то сомасштабному. Последними из запасников истории к нам выпали оберуты. Сначала они воспринимались как шутники. Но собственный опыт довольно быстро привел нас к более глубокому пониманию шуток. Они правы: не спасает сложившаяся в новое время индивидуалистическая культура. Наоборот, она — в том виде, как существует ныне, — толкает к преступным компромиссам, вынуждает на позорные жертвы, становясь постепенно все менее совместимой с честной жизнью, делает целью "возможно полное удовлетворение потребностей человека". Проблема общего смысла нашей деятельности и индивидуального существования для каждого вставала с перехватывающей дыхание остротой. Мыслящий человек не может жить без цели. А цели не было. В философии — пустота, практическая деятельность не вела ни к какому

высокому идеалу. Нигде не светило ничего. Обращение к религии было трудным, разрыв между верой и нашим воспитанием слишком велик. Немногие отваживались броситься в омут непонятого. Впрочем, в воздухе разлилась в это время необыкновенная тяга к самоубийству, помогавшая отважившимся. Во всяком случае, стремление к убийству в себе культурного, мыслящего существа. Одни совсем уходили из жизни (как ленинградский поэт Леонид Аронзон), другие калечили себе жизнь унижительной службой, ненужными браками, разрушали дар взятыми на себя социальными обязательствами... Поэты уходили в прозу, в перевод, вообще из литературы, уезжали. Или замыкались в поэзию безудержного личного мифа (например, Л. Губанов). Пышной ряской расцвели разнообразные виды ядовитой насмешки над тем, что недавно казалось святым. Обериутские формы тут были развиты и многообразно продолжены (Д. Пригов). Стало ясно, что поэзия умирает. В сущности, это был естественный этап развития нашего общества последних десятилетий, который, в свою очередь, есть следствие большой европейской истории последних веков.

И вот в эту атмосферу культурного тупика и распада вдруг со стихами "Дикого шиповника"\* вошла Ольга Седакова, предлагая новую

---

\* "Дикий шиповник" — самиздатский стихотворный сборник О. Седаковой конца 70-х гг. Избранные стихи из него см.: "Вестник РХД" №№ 142, 145. (Прим. составителя).

систему ценностей, жизнь, осмысленную снизу доверху —

от черты на руке  
до звезды в широчайшей небесной реке.

### 3.

Начинала она как все — как поэт собственной личности. Со временем стихи обещали еще одну Ахмадулину или даже Цветаеву, хотя иногда проскальзывало что-то такое неожиданное, не имевшее имени и не знавшее аналогии. Что-то в стихах постепенно росло и накапливалось. Седаковой помогала вера, воспринятая вместе с многими чертами внутреннего облика от любимой бабушки Дарьи Семеновны. Сама поэтесса считает, что еще большую роль сыграло увлечение в старших классах школы "беспощадными идеалистами" (Платоном ранних диалогов, Л. Толстым трактатов, Данте). Так или иначе, ей удалось найти выход.

Первое большое удивление и восторг вызвал, по-видимому, сборник "Строгие мотивы" (1976). Рядом с переводами из Рильке и "Новой Жизни" во второй его части стояли уже некоторые легенды, вошедшие потом в "Дикий шиповник". Удивляла способность и смелость новых стихов говорить о духовных переживаниях. Сокровенные впечатления этого ряда в России до сих пор не принято было рассказывать. Не только в поэзии — о них молчали и избранники Божии. Да и где найти слова? И вот нашлись. Правда, тут еще не было той исключительной свободы и пластичности выраже-

ния, какая пришла в "Диком шиповнике". Зато, как теперь видно, в существе было намечено уже основное содержание будущей книги. Впрочем, недоставало главного, что, как удар, поразило при появлении "Дикого шиповника" — чувства пути. Систематически изученного, осмысленного и пройденного поэтом уже очень далеко. Открытого навсегда, не для одного человека. Для всех, кто захочет пойти. В стихах стала вдруг видна величественная светлая лестница вверх; прекрасные легенды из предыдущей книги легли в ее ступени скромными кирпичами. Удивляла продуманность пропорций, подчиненность всего материала одной большой идее. Музыкальная гибкость и трепетность интонации создавали особую атмосферу, в которой сияли образы редкой красоты и печали. В пересечении, слиянии, взаимной поддержке стихотворений возникала необыкновенная глубина. Мне было страшно открыть себя до конца их смыслом. Они требовали сильной внутренней перемены, решиться на нее не хватало духу. И все было написано раняще искренно и с затаенной горячей любовью к слушателю, читателю. Трудно было себе представить, что в ветхой, расползающейся ткани наших дней есть сердце, исполненное такой пламенной боли за живущих. Свежие раны чувствовались даже там, где речь шла как будто о другом:

Ты мрамор, к сердцу привитой...

(Смерть Алексея, Римского Угодника)

И в круглой симметрии сборника это находило подтверждение:



Ни раной, к сердцу привитой...

(Третье вступление к поэме "Тристан и Изольда")

А словарь стихов был колдовским. Золото и серебряные нити, бусы, кольца, драгоценные минералы, клады, ларцы, свечи и таинственные книги, вода во всех видах, зеркало, алмаз, кубок, деревья, звезды, кусты, цветы, травы. Мир представлял как огромный таинственный праздник. Земля раскрывала свои сокровища будто в ночь на Ивана Купалу. Знакомые предметы и пейзажи, подмосковная Азаровка, глаза домашнего кота начинали вдруг взахлеб рассказывать о себе, своем настоящем и прошлом. Поэт-маг выдерживал жало из их ран, жало, заставлявшее их молчать, и, освобожденные от злых чар, они никак не могли наговориться. В самом тембре стихов чувствовалось, что понимание и даже власть над тайнами земного круга для поэта не цель, а ступень к чему-то важнейшему. Он украшает нищий, любимый дом к приходу драгоценного гостя. Грациозный, нежный стих и живая, как волна, композиция открывают ему видение великого события, славимого под именем Рождества. Но Рождество будущее, которое вот-вот должно произойти.

Или уже произошло.

Надо заметить, что позиция поэта-мага, возрожденная в Европе в нашем веке трудами позднего Йетса, Рильке и Элиота, в пределе ведущая к Данте, никак не давалась русской поэзии. Безуспешно пытались овладеть ею Брюсов и В. Иванов. Отдельные удачи А. Белого, природно-колдовское у Ахматовой не создавали позиции. Ключом

к ней оказалась — любовь. Магические знания и любовь соединились в стихи беспримерной действенности:

Кто безумного счастья, бессмертного счастья  
угрозу,  
кто же кровь остановит ребенку, сорвавшему  
розу?

Книга подтверждала слова нашего современника, афонского угодника Силуана: "Если бы мы любили друг друга в простоте сердечной, то Господь Духом Святым показал бы нам многие чудеса и открыл бы нам великие тайны".

#### 4.

Можно было бы многое сказать о разных сторонах книги "Дикий шиповник". О месте ее стиля в поэзии XX века, о преломлении в ней отечественных традиций, о глубоком значении отдельных стихотворений, об особенностях стиха и самобытной, переливающейся, как драгоценные камни, образности — да мало ли о чем! Но важнее всего, на мой взгляд, следующее. Стихи "Дикого шиповника", эти тонкие воздушные создания, имеют ясную задачу и твердо о ней помнят. В центре книги три кардинальные проблемы:

— что есть человеческая жизнь перед лицом вечности и неизбежности смерти;

— место земного мира или природы по отношению к целям человеческого бытия;

— третьей проблеме я бы дал такое название: "Чудо или Бог среди нас".

## 5.

Несмотря на метафорический язык художественного творчества, на самом деле очень мало сомнений, что художник воплощает в своих творениях сущности (или существа), реальность которых не зависит от него самого. Выхваченные из Космоса образы свидетельствуют неложно о мире, о котором мы сегодня знаем гораздо меньше, чем о материальном, да и пути куда для большинства из нас закрыты. Присутствие в картине или песне такого образа всегда проявляется в форме, вернее, том, что крепко-накрепко связано с формой — в совершенности. У нынешнего человека, вспоенного на том или ином роде искусства, чутье на совершенность и присутствие образа развито очень хорошо. Красота, а это одно из проявлений совершенности, становится здесь главным, если не единственным свидетельством присутствия истины (отметим это как особое направление познавательной деятельности человека).

Таким путем открывается возможность использовать художественные образы для создания объективной картины мира. Поэт бросается в вещество создающей себя Жизни с тем, чтобы получить ответы на свои вопросы. Если обычно считается, что поэт служит вдохновению, то здесь вдохновение служит поэту, и даже не самому поэту, а через него — бесчисленным едокам каждодневного

хлеба. Ради них он подвергается мучительным испытаниям и превращениям творчества. Но если обычно лирик мало думает о том, куда увлечет его муза, а его добычу, как правило, разбирают другие люди — филологи, философы, то "Дикий шиповник" демонстрирует нечто странное. Поэт последовательно заставляет свой творческий дар вести его по заранее намеченному маршруту в различные области Неведомого. И он сам оценивает результаты похода: недовольный, вновь пускается в путь. По стихам видно, что каждый раз при этом он проходит состояние, близкое к смерти. Соединение в одном лице поэта и аналитика представляется делом не только трудным, но и опасным. Сближение этих модусов требует исключительной затраты душевных сил и грозит истощением и безумием. Да возможно ли оно? Четко симметричный, устремленный к заданной мете, необычно для нынешней поэзии конструктивный ансамбль "Дикого шиповника" показывает, что да. И это, видимо, единственный способ врачевания мучительной раны современности — духовного сиротства.

## 6.

Мы окружены океаном золотого, живоносного эфира. Из него мы выпорхнули под лунный свет, мы соединимся с ним после смерти. Он замыкает наше телесное существование, как края бокала влитое в него вино. Непрозрачное темное вещество видимого мира то здесь, то там озаряется острой

искрой его света. Иногда яркий луч вдруг глубоко осветит нашу жизнь — это пламя любви или встреча с великим в искусстве. Но такие мгновения редки. Между тем, язычок сияющего счастьем огня постоянно горит в каждом из нас. Если бы мы умели — о какая это болезненная операция! — увидеть его в себе, мы бы узнали, что вино мира сего не кое-где, а всюду пронизано невидимым пламенем. Земля открыла бы нам свои сокровища. Все бы изменилось. Любую обиду, горе оказалось бы возможным переплавить в горне нашей души в легчайший и нужнейший золотой слиток. Именно он понадобится нам при встрече с Жизнью за гранями кубка — это наш отчет перед ней и основание будущего торжества: вот я пронес Твой огонь сквозь ночь и возвращаю его Тебе.

Но у каждой большой задачи и поступка есть две стороны. Разрыв между житейским самосознанием и скрытым божественным обликом личности есть отражение другого разрыва, предвечного — между Землей и Небом. Цель его — тайна, мы призваны сшивать своими жизнями эту зияющую рану. Всею волей, умом, временем, терпением через мембрану собственной души мы раскрываем окружающую темную жизнь огням и бликам светлого мира, а существам и предметам земного круга даем возможность поделиться с нами тяжестью и горестной отчужденностью от своего бытия.

Такова, очень-очень кратко, философская проекция "Дикого шиповника". Разумеется, самый поверхностный ее слой. Потому что океан света, в

отличие от равномерно плотного водного, не аморфен. У него есть структура, ярусы, ядро, он полон ликом, световых коридоров, образов. Это, в частности, мировая память, содержащая в себе все исторические события, все личные воспоминания, все прошлые жизни. Картина, видимая с высоты стройного музыкального здания, открывает нам основания христианства, подводит к Евангелию. Образы и мысли тысячелетней глубины выходят к нам обновленными, оживленными кровью современного художника. Они снова становятся реальными. А мы, двигаясь навстречу им, проходим назад тот поворот в истории Европы (границу XVI—XVII вв.), который привел к нынешнему тупику. В нашей воле теперь, учтя уроки истории, отправиться в будущее иным путем, созидая культуру, альтернативную к современной, основанную на новом отношении человека к самому себе и к миру.\*

## 7.

”Старые песни” действительно старые. Хотя в них нет поверхностной стилизации под средневековье, содержание их таково, что его легко представить обнаруженным в дневнике монахини XV века. Вернее, все же поэтессы, но поэтессы не в теперешнем понимании этого слова. Перед нами лирика особого рода.

---

\* Со взглядом О. Седаковой на современную поэзию знакомит ее эссе ”О Бронзовом веке” (”Грани” № 130 — прим. составителя).

Услышав в 1980 году первые пять стихотворений первой тетради, я расстроился. Конечно, возрожденная пушкинская форма прекрасно сочеталась с выраженными в ней личными, земными эмоциями, и большинство современных лириков сочли бы это дивной находкой. Я же видел здесь отступление назад.

Психология личности находилась в центре внимания европейской поэзии почти 200 лет. Личность раскрыта в своих проявлениях не только до "неправедного изгиба", но даже до преступного. Между тем, это задержка, остановка на полпути. Хотя сознательные намерения тех, кто стоял у истоков этого уклона были довольно практическими, его истинный смысл оказался в том, чтобы пройти сквозь сентиментальный слой души к ее духовным глубинам. Об этом свидетельствует история живописи, литературы, гуманитарных наук последних двух веков. Переход состоялся в нашем столетии. В России такой переход был подготовлен символистами, но следующее поколение, готовое продолжить работу, ими начатую, пришло нескоро, но пришло. И вдруг после "сада мирозданья" — снова личность и знакомые переживания: обида, жалость, грех, отъезд, дорога, вечер. Я утешал себя тем, что движение вперед не может быть равномерным, что интересен и психологический автопортрет незаурядного художника...

Я ошибался. Со второй тетради стало очевидно, что в стихах происходит неслыханное преобразование слова. Простые понятия приобретали такую концентрацию, что на чтение небольшого

стихотворения уходило много времени. Я три дня не мог одолеть последние строки "Зеркала":

Жизнь ведь — небольшая вещица,  
вся, бывает, соберется  
на мизинце, на конце ресницы —  
а смерть кругом нее, как море.

Дочитывал до слова "конец" (ресницы) и оставлял чтение: резервы моего восприятия нового были исчерпаны.

Позднее я понял: стихия жизни, в которой протекает наше нефизическое бытие, вплотную подступает здесь к словам, так что они плавают в ней, как жиринки в супе. Причем подступают прежде всего к звучанию. Каждый момент образования звука получает колоссальную наполненность, за ним поднимается бесконечный ряд подобий. Становится очевидно, что он выбран не из артикуляторных элементов русской речи или славянской, но из всех возможностей осмысленного звучания вообще. Также и понятия. Они перестали быть именами свойств и явлений мира. Они открывают нашу реальность как одну из своих возможностей. Смелость и милость из соответствующего стихотворения вовсе не свойства человеческого характера. Это другие смелость и милость — надмирные. Одна "правит кораблями на океане великом" (и мы догадываемся, каком), другая — "качает разум, как глубокую дряхлую люльку". Ясно, что они способны отражаться в человеческом поступке, как солнце в капле.

Таким образом, психология получает здесь новое значение. Лирический герой "Песен" живет



в нашей жизни, так сказать, по щиколотку. Весь остальной его рост протянулся в другом мире. И если с этой высоты он говорит вдруг как бы между прочим:

Милый мой, сама я не знаю:  
к чему такое бывает? —  
Зеркальце вьется рядом  
величиной с чечевицу...

— то читатель приподымается на месте в страхе и трепете перед страшной угрозой нашему маленькому миру, заключенной в этом зеркальце.

Сознаюсь, что хотя я оценил теперь "Старые песни" как высочайшую поэзию, я не всегда могу перечитывать их. Потому что каждый раз в их простых словах открываются новые пропасти — бездны отчаяния, ужаса.

## 8.

Это и понятно. В сущности, главная тема этих стихов — смерть. Не говорю уж о третьей тетради,\* где присутствует двойное зрение на предметы — оттуда, очами бабушки, и отсюда. Но повсюду граница между двумя мирами растворена. Здешнее бытие незаметно для себя переходит в иное.

---

\* Третьей тетрадью "Старых песен" мы, к сожалению не располагаем (прим. составителя).

Будем жить мы долго, долго.  
Выстроим два высоких дома:  
тот из золота, этот из мрака,  
и оба шумят, как море.

Будут думать, что нас уже нет...  
Тут-то мы им и скажем:

По воде невидимой и быстрой  
уплывает сердце человека,  
там летает ветхое время,  
как голубь из Ноева века.

Жизнь протекает в ином, несравненно большем пространстве, а в этом представлена лишь отчасти. Человек должен видеть себя неизменно жителем большой Жизни. Но как научиться преодолевать границу смерти? Разумеется, "Старые песни" не моральный букварь, но все же они обучают. То, что в "Диком шиповнике" встает как философия, здесь предстает как образ чувств, как повседневное психологическое состояние.

Мне кажется, мы тем самым подходим к выработке нового типа культурного деятеля. Не бурного гения и преобразователя вселенной, а просвещенного, умудренного истиной строителя сразу "двух домов". Здесь не место подробно раскрывать эту позицию, но, я думаю, что у тех, кто внимательно вдумывается в будущее русской и европейской культуры, "Старые песни" должны вызывать невольный вздох облегчения: слава тебе, Господи!

Маленькая справка. Ольга Александровна Седакова родилась в Москве в 1949 году в семье военного. В 1973 году окончила филологический факультет Московского государственного университета, где специализировалась в области славянских древностей. Выступает в печати как критик и литературовед, переводчик европейских поэтов.

"Дикий шиповник" — шестой поэтический сборник Ольги Седаковой, "Старые песни" — седьмой. Ни один не был напечатан. Три стихотворения опубликованы в студенческой газете, и только. Согласно официальному ответу одного из издательств, ее произведения не могут быть интересны читателям "ввиду изобилия библейских мотивов и отсутствия гражданских тем".

Д. С.

Москва, декабрь 1984.

## СОДЕРЖАНИЕ

### I.

Кода .....	7
Горная ода .....	8
Давид поет Саулу .....	13
Семь стихотворений .....	15

### II. ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

Вступление первое .....	25
Вступление второе .....	28
Вступление третье .....	30
1. Рыцари едут на турнир .....	32
2. Нищие идут по домам .....	34
3. Пастух играет .....	36
4. Сын муз .....	37
5. Смелый рыбак. Крестьянская песня ...	40
6. Раненый Тристан плывет в лодке .....	41
7. Утешная собачка .....	43
8. Король на охоте .....	45
9. Карлик гадает по звездам Заодно о проказе .....	47
10. Ночь. Тристан и Изольда встречают отшельника .....	49
11. Мельница шумит .....	51
12. Отшельник говорит. Заключение .....	53

### III.

Маленькое посвящение В. И. Хвостину . . . . .	57
Последний читатель . . . . .	58
Статуэтка слона . . . . .	60
Ночное шитье . . . . .	62
Кузнечик и сверчок . . . . .	64
Осень, огонь и путник . . . . .	66
Вьюга . . . . .	68
Путешествие волхвов . . . . .	70
Неужели, Мария... . . . .	73
Ни темной старины заветные сказанья . . . . .	74
В винном отделе . . . . .	75
Лицинию . . . . .	77
На смерть Владимира Ивановича Хвостина . . . . .	78
В пустыне жизни... . . . .	79
Из дневника . . . . .	81
На смерть Леонида Губанова . . . . .	82
Встреча . . . . .	83
Весна . . . . .	84
Золотая труба . . . . .	86

### IV. СТАРЫЕ ПЕСНИ

#### Первая тетрадь

1. Обида . . . . .	91
2. Конь . . . . .	92
3. Судьба . . . . .	93
4. Детство . . . . .	94
5. Грех . . . . .	95
6. Человек он злой и недобрый... . . . .	96
7. Утешение . . . . .	97

8. Спор	98
9. Просьба	99
10. Слово	100

## Вторая тетрадь

1. Смелость и милость	101
2. Походная песня	102
3. Неверная жена	103
4. Уверение	104
5. Колыбельная	105
6. Возвращение	106
7. Желание	107
8. Зеркало	108
9. Видение	109
10. Дом	110
11. Сон	111
12. Заключение	112

Д. С. "Ольга Седакова: новый путь"	113
------------------------------------	-----



О. Седакова одна из известнейших московских современных поэтесс.

Но ее не публикуют в СССР, ее поэзия — достояние Самиздата. На Западе до сих пор Седакова известна лишь несколькими небольшими подборками в "Вестнике РХД" и других журналах зарубежья.

Антология поэтессы завершается небольшим эссе московского знатока и ценителя ее творчества Д. С.

Поэзия Седаковой не только плодотворно наследует классическим традициям русского и европейского стиха, но оригинально преображает саму филологию.